



Mateusz Jaworski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polska



<https://orcid.org/0000-0002-4400-5546>

ЖИЗНЬ КАК ПРЕДМЕТ ПОВЕСТВОВАНИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА О ЗАПИСКАХ ЛАРИОНОВА МИХАИЛА ШИШКИНА

LIFE AS A SUBJECT OF FIRST-PERSON NARRATIVE
ON ЗАПИСКИ ЛАРИОНОВА BY MIKHAIL SHISHKIN

The article explores the narrative structure of Mikhail Shishkin's debut novel, *Записки Ларионова* ("Notes of Larionov"), focusing on the complexities and ambiguities of first-person storytelling. By examining the narrator's self-presentation and the intricate relationship between the narrator, protagonist, and implied audience, the study highlights how Larionov crafts a self-image that blends self-justification and self-deception. Drawing on narratological analysis, the article underscores the duality of Larionov's narrative – a text that oscillates between a "humble testimony" of an ordinary life and a veiled manipulation of truth. Special attention is given to themes such as the literary construction of identity, the unreliability of the narrator, and the ambivalence of moral and existential choices. The paper situates Shishkin's work within the broader context of Russian postmodern literature, emphasizing its intertextual allusions, ethical inquiries, and psychological depth.

Keywords: Mikhail Shishkin, *Записки Ларионова*, narratology, unreliable narrator, Russian postmodern literature, moral ambivalence, intertextuality, memory, self-perception

Mateusz Jaworski *Жизнь как предмет повествования...*

ЖИЗНЬ КАК ПРЕДМЕТ РАССКАЗА ПЕРВОЛИЧНОСТИ О КНИЖКЕ ЗАПИСКИ ЛАРИОНОВА МИХАИЛА ШЫШКИНА

Autor artykułu poddał analizie strukturę narracyjną debiutanckiej powieści Michaiła Szyszkiina *Записки Ларионова* („Notatki Łarionowa”), skoncentrował się przy tym na złożoności i wieloznaczności narracji pierwszoosobowej. We wnioskach dotyczących autoportretu narratora i skomplikowanej relacji między narratorem, głównym bohaterem i domniemaną publicznością wskazał, jak za pomocą samousprawiedliwienia i samooszukiwania Łarionow tworzy obraz samego siebie. W tym opartym na podejściu narratologicznym artykule odsłonił dualizm narracji Łarionowa – tekstu, który oscyluje między „skromnym światem” zwyczajnego życia a zakamuflowaną manipulacją prawdą. Szczególną uwagę poświęcił omówieniu konstrukcji literackiej tożsamości, niewiarygodności narratora oraz ambiwalencji wyborów moralnych i egzystencjalnych. Usytuował też twórczość Szyszkiina w szerszym kontekście rosyjskiej literatury postmodernistycznej, by pokazać intertekstualne odniesienia powieści, kwestie etyczne oraz psychologiczną głębię.

Słowa kluczowe: Michaił Szyszkin, *Записки Ларионова*, narratologia, niewiarygodny narrator, rosyjska literatura postmodernistyczna, moralna ambiwalencja, intertekstualność, pamięć, autopercepcja

Любой художественный текст создает свою оригинальную вселенную, управляемую согласно себе присущим законам, раскрытие которых может считаться главной целью качественного чтения. Однако следует подчеркнуть, что каждый акт интерпретации, наподобие человеческого познания реальности¹, уникален по своей природе. Следовательно, форма внутренней архитектуры литературного текста не устойчива. Именно данное свойство художественной словесности открывает чтение на необъятное поле полисемии, т.е. множества всевозможных значений, материализованных ведь в виде неизменной комбинации букв и слов. В этом ракурсе особо интересной задачей может показаться попытка тщательного анализа повествования от первого лица в рамках многослойной ткани литературного

¹ Ср. «Всякое спрашивание есть искание. Всякое искание имеет заранее свою направленность от искомого. Спрашивание есть познающее искание сущего в факте и таковости его бытия. Познающее искание может стать „разысканием” как выявляющим определением того, о чем стоит вопрос». Мартин Хайдеггер, *Бытие и время*, перев. Владимир Библихин (Харьков: Фолио, 2003), 11.

произведения. Целеустремленность рассказчика, его надежность как источника информации, логика создания истории (или ее отсутствие), несомненно, принадлежат к группе самых увлекающих вопросов для любого интерпретатора прозы. Нарратологическое наклонение анализа ставит акцент на коммуникационное измерение текста вдоль нескольких линий общения: текст–читатель, рассказчик–текст, рассказчик–читатель, герой–рассказчик, но также автор–рассказчик и автор–читатель. Современные тексты редко соблюдают традиционно не пересекаемые границы между художественной и физической (исторической) реальностью. Данная проблематика особенно полезна при рассмотрении дебютного романа одного из самых ярких представителей русской словесности последних лет – Михаила Шишкина – под названием *Записки Ларионова* (1993)².

Отправной точкой для моих дальнейших размышлений послужит вступительное письмо к первой части романа («тетради» согласно своеобразной композиции текста), в котором рассказчик и главный герой – Александр Львович Ларионов – определяет причину своего повествования:

Дожив до седины, я прекрасно понимаю всю необязательность этого труда. Он был вызван к жизни, поверьте, лишь долгими зимними вечерами, вынужденным деревенским бездельем да одиночеством. Смешно, подобно наивному мемуаристу, думать осчастливить мир изложением подробностей чьей-то далекой чужой жизни, до которых никому нет никакого дела и которые лишь в самом авторе способны возбудить печаль или радость воспоминаний да учащенное биение сердца от какой-нибудь неловкости, или признания, или анекдота, приключившегося с ним Бог знает когда. Чтобы писать мемуары, надобно выслужиться у истории, а я в этой службе не выбился и в унтеры, сами знаете. Мировые бури обошли стороной мой домик, занесенный снегом по самые окна. Великие люди представляли предо мной большей частью в литографированном виде. Сам я в жизни,

² Книга появилась впервые в журнале «Знамя» под другим названием – *Всех ожидает одна ночь* – и принесла Шишкину первую литературную премию (от редакции самого журнала). См. Наталья Иванова, «Михаил Шишкин: контексты прозы», в: *Знаковые имена современной русской литературы. Михаил Шишкин*, ред. Anna Skotnicka, Janusz Świeży (Kraków: Wydawnictwo „scriptum”, 2017), 22–23.

хоть прожил ее просто и честно, ничего выдающегося не совершил, чтобы заслужить благодарность потомков.

Считайте, что я пишу эти записки, последовав Вашему шутивому совету. Помните, в один из приездов Вы утверждали за травничком, что составление мемуаров благотворно для организма?³

Этот прием оправдания акта написания истории своей собственной жизни, сильно напоминающий ничем не вынужденные объяснения Гумберта в начале *Лолиты* Владимира Набокова, с одной стороны, вписывается в поэтику «скромного свидетельства жизни обычного человека», но, с другой стороны, может намекать на чувства виновности повествователя – ведь беспричинность оправдания противоречит его поверхностной логике. К тому же записные тетради дарятся якобы другу Ларионова (хотя по ходу истории можем заметить, что адресат не так уж близок к нему), который рекомендовал такую форму активности в качестве лечения. Воспоминания героя в данном плане оказываются своего рода терапией, *talking cure*⁴.

Интересно также, что в финале первой тетради Ларионов ставит существенный вопрос о принадлежности/нацеленности записок: «Вот и подходит к концу, Алексей Алексеевич, первая моя, а вернее сказать, Ваша тетрадь. Испишу сейчас две последних страницы, а завтра, с Божьей помощью, возьмусь за вторую» (с. 146). В данном фрагменте подразумевается вопрос не о материальном статусе тетрадей, а о настоящем адресате воспоминаний – возможно Александр Львович решил, что перспектива смерти (оттуда и альтернативное название романа – *Всех ожидает одна ночь*) требует неких итогов и объяснений поступков, совершенных им на протяжении всей жизни, как перед самим собой, так и перед другими людьми.

Подробный анализ повествования позволяет поставить важную для интерпретации гипотезу: Ларионов в рамках своего

³ Михаил Шишкин, *Урок каллиграфии: роман, рассказы* (Москва: Вагриус, 2007), 7–8. В дальнейшем цитируем по тому же изданию. В скобках указываем номер страницы.

⁴ Michał Paweł Markowski, „Psychoanaliza,” в: Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski, *Teorie literatury XX wieku* (Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009), 47.

рассказа скорее всего создает свой целенаправленный образ, т.е. является прежде всего фиктивным героем, а не настоящим (в мире произведения) человеком. Во-первых, вряд ли любой текст способен отразить истинную (фактическую) природу индивида. Во-вторых, финал всего произведения намекает на некую незавершенность истории Ларионова, отсутствие чего-то важного: «Что-то написать хотел, что-то важное, да забыл и вспомнить никак не могу. Ничего, завтра допишу» (с. 284). Конечно, сам текст не дает прямого ответа, чего не хватает в воспоминаниях главного персонажа, или точнее – рассказчика, так как часто Ларионов-рассказчик не понимает причин действий Ларионова-персонажа⁵, но можем предполагать, что этот недостающий элемент связан именно с потребностью оправдания. Следовательно, у внимательного читателя может возникнуть обоснованное впечатление, что рассказчик создает ткань истории таким образом, чтобы не раскрыть настоящих побудительных мотивов своих действий. Акт художественной речи оказывается здесь не стремлением передать истину, проникающую все слои реальности, а скорее всего попыткой скрыть ее не только перед читателем (будь он фиктивным другом повествователя или реальным читателем книги Шишкина), но также перед самим рассказчиком⁶.

В ходе своего рассказа Александр Львович последовательно создает автопортрет человека, стремящегося к высокому идеалу и постоянно страдавшего от своих нравственных усилий. Воспоминания, похоже на специфику жанра *Bildungsroman*, охватывают также детство центральной личности, в котором Ларионов указан одиноким, неловким и не понятым другими мальчиком.

⁵ Например, «Сам не понимая толком зачем, я отправился на Грузинскую» (с. 247).

⁶ В этом контексте, несомненно, стоит сравнить данный модус повествования с нарративом в *Венерином волосе*, где, как отмечают Марина Абашева и Светлана Лашова, доминантой является сама история, оторванная от определенного рассказчика и исполняющая роль носителя истины. См. Марина Абашева, Светлана Лашова, «Стратегии и тактики Михаила Шишкина», *Polilog. Studia Neofilologiczne*, № 2 (2012), 239.

Его замкнутость, в свою очередь, как намекается в рамках повествования, вызвала целое море страданий и унижений:

Кто не научился обходиться в кругу товарищей с самого детства, обречен в отрочестве на одиночество и простодушную, без задней мысли, травлю, осужден на то, чтобы вылавливать из чашки гимназического чая еще живого прусака, совать ноги в галоши, налитые квасом, ходить, не замечая на спине вероломный плевков (с. 18).

Первым человеком, увидевшим его оригинальность и чувствительность, оказался учитель точных наук в ненавидимой мальчиком гимназии. Именно он подтолкнул Ларионова к экстенсивному чтению (с. 19–21). Увы, общение молодого Александра с определенными книгами, по его собственным словам, было преждевременным. В результате его чтение лишено было настоящей рефлексии, ведущей к духовному развитию. К тому же герой почти полностью заменил реальность литературой. Хорошим примером отчужденности героя является любовный эпизод с Дашей, в котором мальчик оказывается предметом насмешек сверстников и переживает, по своей сути, «литературный, книжный» роман (здесь, согласно поэтике постмодернизма, Шишкин подражает сюжету и стилю *Первой любви* Ивана Тургенева⁷). На особое внимание заслуживают здесь язык, употребляемый Сашей для выражения чувств, и подробности обстановки. Например, символичное место свидания – молодой Ларионов должен встретиться с Дашей около статуи Леды – героини греческой мифологии, спавшей в одну ночь и с любовником-Зевсом в виде лебедя, и со своим мужем (намек на измену любимой). Следует отметить, однако, что литературность здесь весьма односторонняя как на уровне мира текста (Даша ведь воспринимает ухаживание мальчика с иронией и насмешкой), так и в языке описания. Ведь читатель,

⁷ О нескрываемой цитатности творчества автора *Венерина волоса* писали многие исследователи. См., напр., Галина Нефагина, “Слово как преодоление смерти в романах М. Шишкина,” *Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX–XXI веков: направления и течения*, № 12 (2011), 217.

отлично понимая искусственность поведения и самого нарратива, в отличие от героя, скорее всего не попадает в жестокую ловушку невозможного свидания. К тому же сцена описана с точки зрения молодого Саши, а не зрелого повествователя Ларионова, о чем свидетельствуют высокий стиль и пафос, например:

Около пруда валялась почерневшая от непогоды, потрескавшаяся, частью расколотая статуя Леды с обезглавленным лебедем, шея которого с головой куда-то бесследно исчезли. Как описать мой восторг, мое упоение, мое счастье? (с. 32)

Благодаря такой повествовательной позиции, возможно, персонаж выигрывает сочувствие, понимание и снисходительность читателя.

После вступления в дворянский полк Ларионов старался преодолеть свою неуклюжесть с помощью грубости в обращении к другим: «Как я ненавижу себя, пухлого, задумчивого! Как я хотел стать таким же, как они все, – тупым, грубым, жестоким, веселым!» (с. 32). Здесь рассказчик, однако, отказывается от точки зрения героя – отрицательные определения его тогдашнего идеала указывают на оценку зрелого Ларионова. Повествователь имплицитно подчеркивает искусственность стремления к одобрению и принятию однополчан. Даже интимное общение за деньги с Марией Николаевной не позволило ему стать «своим», так как молодой герой слышит от нее следующее:

- Тебе, Сашенька, тяжело будет жить.
- Да отчего же? – удивился я.
- А ты не грубый. Все они какие-то грубые, а ты ласковый⁸.

⁸ Этот фрагмент, несомненно, отсылает заинтересованного читателя к двум уже классическим текстам русской словесности – повести *Зависть* Юрия Олеши и поэме *Москва-Петушки* Венедикта Ерофеева. В первом из них имею в виду финал, где соседка Кавалерова, вдова Анечка, оправдывает свою измену (но также и интимную связь с ним) чувством жалости: «Ты не ревнуй, Коля, – сказала она, обняв Кавалерова. – Он очень одинокий, такой же, как ты. Я вас обоих жалею». Юрий Олеша, *Зависть (сборник)* (Москва: ФТМ, 2005), 76. В произведении Ерофеева – эпизод

Важным моментом в становлении образа героя является его выход из дворянского полка, когда откровенно раскрывает свою самоуверенность и гордость, напоминающие поведение Ковалева из *Носа* Николая Гоголя и Грушницкого из *Героя нашего времени* Михаила Лермонтова:

С чем можно сравнить чувства, переполнившие свежеиспеченного офицера, надевающего в первый раз мундир прапорщика, эту *toга virilis*? Как не простить зазорного мальчишества – пройти весь Невский несколько раз из конца в конец без шинели, хоть и морозит еще северный апрель! Нужно было показать на свет Божий свои эполеты, и я в одном сюртуке, конечно, с фуфайкой под ним, отправился на целый день бродить по городу, с замиранием сердца подходя к каждому часовому, а ну как не отдаст честь, но часовые вытягивались в струнку, встречные солдаты снимали фуражки, и, чтобы испить чашу открывшихся наслаждений до дна, я два целковых прокатал на извозчике (с. 48–49).

Данная сцена важна, потому что с нее именно высокая самооценка и гордость будут явно сопровождать романтическое стремление героя к высокому идеалу в жизни вплоть до доноса на Ситникова. Итак, в своей офицерской жизни Ларионов будет одновременно наивным Дон Кихотом, вопреки всем и всему заботящимся о духовной жизни и грамотности своих подчиненных, и пьяницей, и гордым мужчиной, противостоящим силе авторитета высшего чина. Стоит здесь припомнить диалог Ларионова с его командиром Рузаевым:

Когда я вошел к нему, Рузаев набросился на меня и орал с четверть часа. Наконец он остановился, чтобы перевести дыхание, и я сказал:

– Вы можете приказать мне что угодно, и я подчинюсь дисциплине. Но смею вас заверить, что я имею свои убеждения, и никакой приказ не в силах заставить меня изменить их.

Лицо Рузаева покрылось белыми и красными пятнами. Он уже принял было писать что-то, и теперь перо хрустнуло в его кулаке.

ссоры Венички со своими сожителями, не понимающими его нежелания делиться физиологическими наблюдениями над своим организмом и употреблять скверную, вульгарную лексику. См. Венедикт Ерофеев, *Москва-Петушки* (Санкт-Петербург: Азбука, 2020), 30–33.

– Молокосос! – прошипел он. – У меня из первой раны вытекло больше крови, чем ты в себе носишь! Ты проживи сначала жизнь, чтобы рассуждать об убеждениях!

– Среди офицеров принято говорить друг другу «вы», – перебил я Рузьева (с. 62–63).

Любопытно, что этот жест несогласия Ларионов повторит еще перед Аракчеевым, Нольде и Солнцевым, но, к сожалению, не устоит перед сомнительным авторитетом Маслова. Сцена доноса, возможно, ставит под вопрос истинность описания конфликта с Рузьевым.

Двойная природа Ларионова заметна и в его отношениях с женой, в рамках которых чередуется ненависть и сентиментализм, отвращение и очарование, равнодушие и страсть. С одной стороны, герой в определенный момент не понимает, как мог связаться с чужим себе человеком, находит наслаждение в терзаниях Нины, когда признает, что «с ужасом поймал себя на том, что получал даже какое-то удовлетворение в том, чтобы доводить ее до слез» (с. 111). С другой стороны, он способен к невероятно романтическим жестам (даже за минуту до расставания), когда обнимает жену и на руках заносит ее в постель (с. 114). Возможно, самой подходящей категорией для интерпретации двойственности, созвучия и соприсутствия противоположных стремлений героя является *энантиодромия*, на которую ссылается при интерпретации *Письмовника* Анна Скотница⁹. Данный термин восходит, между прочим, к древнегреческой философии (рассуждения Гераклита) и психоанализу (работы Карла Густава Юнга), обозначая превращение феномена в свою противоположность¹⁰.

Восстание в Польше 1830 года оказалось главным тестом нравственной позиции, созданной самим рассказчиком (или – приписанной самому себе в повествовании). И здесь заметно двуличие Ларионова – внешне он сочувствует восставшим,

⁹ Anna Skotnicka, “Как устроен мир? «Письмовник» Михаила Шишкина,” *Przegląd Rusycystyczny*, № 2 (142) (2013), 38–39.

¹⁰ Skotnicka, “Как устроен мир?,” 38.

соглашается с Ситниковым, который так говорит Шрайберу и Иванову:

– А вы не допускаете мысли, – вдруг сказал Степан Иванович, который до этого только хмуро следил за разговором, – что их отчаянный мятеж есть порождение не глупости, не безнравственности, а оскорбленного человеческого достоинства? Не кажется ли вам, что безнравственность как раз в том, чтобы народ, будь то поляки, французы или русские, принадлежал одному лицу, или семейству, или касте? Дикость как раз в том, что народ существует для прихоти правителей, вместо того чтобы самому выбирать себе правительство, какое ему заблагорассудится. И если у народа это естественное изначальное право отнимается, я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы народ отстаивал справедливость, пусть и с оружием в руках. Ведь вы же, если на вас нападут какие-нибудь мерзавцы и станут унижать вас, возьметесь в конце концов за палку, не так ли? (с. 188–189)

Марк Липовецкий в своей интерпретации этого эпизода акцент ставит на общественную позицию Ларионова – будучи русским интеллигентом, он не может не сочувствовать субалтерну в столкновении с насилием имперской и колониальной силы¹¹. Однако герой Шишкина отказывается активно бороться за этот высокий идеал, погружаясь в пассивное терпение несвободы, которое отнюдь не нейтрально. Позиция интеллигента здесь сводится до декларативного уровня, в то время как его действия свидетельствуют о более оппортунистском подходе к нравственным дилеммам. Интересно, что рассказчик не скрывает этой своеобразной шизофренической природы своего участия в событиях и рефлексии по его поводу. Следовательно, читатель наблюдает двоемыслие Ларионова – с одной стороны, сознание правоты на стороне субалтерна и потребность его поддержки, а с другой – полное беспомощности послушание и пассивность. Эту двойственность подчеркивают следующие слова Ситникова:

¹¹ См. Марк Липовецкий, “Центон Шишкина: империя, насилие, язык,” в: *Знаковые имена современной русской литературы. Михаил Шишкин*, ред. Anna Skotnicka, Janusz Świeży (Kraków: Wydawnictwo „scriptum”, 2017), 37.

А мы-то почему терпим все это? Повесили, сослали на каторгу честнейших, достойнейших из нас – мы стерпели. Теперь идут убивать целый народ, который не желает быть, подобно нашему, рабом, – мы снова терпим! (с. 191)

Герой принимает выгодную позицию в нравственном и общественных планах – одновременно сочувствует восставшим и не решается на жертву – о чем, однако, не узнаем от рассказчика, который на декларативном уровне не отмечает за собой вины:

Нет-нет, я вовсе не собираюсь оправдываться, как это может показаться. Видит Бог, вины на мне нет. Просто я пишу обо всем, что было в жизни моей, ничего не пропуская, ничего не утаивая. Напишу и об этом. И ничего больше (с. 171).

В минуту тревоги, однако, Ларионов не в состоянии преодолеть страх перед арестом, что ставит под вопрос его предыдущий рассказ (сцены с Рузаевым и Аракчеевым, в которых охотно соглашался оставаться в заключении ради своих убеждений). Герой внезапно (на уровне композиции повествования) находит «идеальное» решение – выложить всю истину перед Масловым. Стоит заметить, что Александр Львович делает это даже с усердием, стараясь, однако, сохранить конфиденциальность доноса:

Я встал и пошел к дверям как в бреду. Только выйдя в коридор, вспомнил, что нужно же было что-то сказать, попрощаться, поблагодарить. Я вернулся.

Маслов снял с себя сюртук и надевал мундир.

– Господи, что еще? – недовольно спросил он.

– Скажите, я могу надеяться, что Степан Иванович...

– Ну же? – ...что он ничего не узнает?

– ...что он ничего не узнает? – Я кивнул на мои бумаги, что лежали на столе.

Маслов усмехнулся.

– Что ж, если это так важно для вас.

– Благодарю, – сказал я и прикрыл за собой дверь (с. 262).

Это просьба, в свою очередь, вписывается в неочевидность повествования, в ее раздвоенную логику (логику

документального воспоминания и логику оправдания действий рассказывающего). Ибо, трудно поверить в финальную декларацию Ларионова, который утверждает, что ни в чем не раскаивается и ни о чем не жалеет (с. 284). Если его донос не противоречит идеализированной им в рассказе нравственной позиции, то весьма затруднительно объяснить чувства стыда перед Ситниковым.

Роман Михаила Шишкина *Записки Ларионова* в свете выше-изложенной интерпретации указывает на несомненную сложность кажущегося надежным и объективным повествования от первого лица. Рассказ Ларионова не лишен значительной дозы манипулирования и подспудного, имплицитного оправдания. К тому же способ повествования об истории человеческой жизни, выбранный русским писателем в его дебютном романе, углубляет тематику аксиологии, проблематизируя ее в практическом плане и подчеркивая амбивалентность и относительность жизненных выборов любого индивида.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Абашева Марина, Лашова Светлана. “Стратегии и тактики Михаила Шишкина.” *Polilog. Studia Neofilologiczne*, № 2 (2012). 233–241.
- Ерофеев Венедикт. *Москва-Петушки*. Санкт-Петербург: Азбука, 2020.
- Иванова Наталья. “Михаил Шишкин: контексты прозы.” В: *Знаковые имена современной русской литературы. Михаил Шишкин*. Ред. Anna Skotnicka, Janusz Świeży. 21–33. Kraków: Wydawnictwo „scriptum”, 2017.
- Липовецкий Марк. “Центон Шишкина: империя, насилие, язык.” В: *Знаковые имена современной русской литературы. Михаил Шишкин*. Ред. Anna Skotnicka, Janusz Świeży. 35–47. Kraków: Wydawnictwo „scriptum”, 2017.
- Нефагина Галина. “Слово как преодоление смерти в романах М. Шишкина.” *Уральский филологический вестник. Серия: Русская литература XX–XXI веков: направления и течения*, № 12 (2011). 217–226.
- Олеша Юрий. *Зависть (сборник)*. Москва: ФТМ, 2005.
- Солженицын Александр. “Раковый корпус.” В: Александр Солженицын. *Малое собрание сочинений*. 5–488. Санкт-Петербург: Азбука, 2015.
- Хайдеггер Мартин. *Бытие и время*. Перев. Владимир Бибихин. Харьков: Фолио, 2003.
- Шишкин Михаил. *Урок каллиграфии: роман, рассказы*. Москва: Вагриус, 2007.

Markowski Michał Paweł. "Psychoanaliza." B: Anna Burzyńska, Michał Paweł Markowski. *Teorie literatury XX wieku*. 47–78. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009.

Skotnicka Anna. "Как устроен мир? «Письмовник» Михаила Шишкина." *Przeгляд Rusycystyczny*, № 2 (142) (2013). 35–50.

Mateusz Jaworski – doktor, pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania i badania naukowe: współczesna proza rosyjska, teoria literatura i filozofia współczesna. Najważniejsze publikacje: *Реконфигурация в романной поэтике Виктора Пелевина. Солипсизм – язык – история* (Poznań 2019); *Genre Transformations of the Apophatic Principle in Russian Dystopia* (z Borisem Laninem; *Verneinung und Verschweigen: Apophatische Rhetorik in den Werken russischer romantischer Autoren, ihrer Vorgänger, Nachfolger und Antagonisten*, red. P. Bukharkin, E. Matveev, A. Meyer-Fraatz, Wiesbaden 2025); *Чтение в мире без книг. О литературе в Манараге Владимира Сорокина* („Studia Wschodniosłowiańskie” 2022, t. 22).

Kontakt: mateusz.jaworski@amu.edu.pl

Mateusz Jaworski Жизнь как предмет повествования...